

Рассказы о блокадном детстве

Р. М. Арбинская



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Моя детская память сохранила все подробности первого дня войны. То был солнечный, теплый день – выходной день в нашей стране после шестидневной трудовой недели. Покончив с завтраком, все члены семьи занялись своими делами: отец укладывал в сарае подготовленные на зиму дрова, старшая сестра с подругой ушла в кино (кинотеатр «Уран» на Ярославском проспекте, работающий и сейчас), мама и бабушка были дома, они готовили обед; я и моя младшая сестра играли на зеленой лужайке возле дома в популярную тогда среди девочек игру – «магазин», где товаром служили одуванчики и трава. По голубому небу скользили редкие облака, а воздух был напоен запахом сирени. Из открытых окон домов доносилась эстрадная «патефонная» музыка, мальчишки играли в футбол, и везде царил какое-то особенное спокойствие. Казалось, никакая беда не сможет его нарушить.

Да и откуда ей, этой беде, было взяться? Уже ушла в прошлое война с Финляндией, длившаяся всего несколько месяцев, а сообщения, передаваемые ежедневно по радио,

были вполне оптимистичны. Правительство страны заверяло нас в том, что никакой войны больше не будет, что с Германией заключен мирный договор. По радио часто передавали советские патриотические песни, например, «Широка страна моя родная...» или «Если завтра война...» и другие, которые настраивали всех нас на оптимизм. Но неожиданно для нас, увлекшихся игрой, настала какая-то странная тревожная тишина, и из уличного репродуктора мы услышали знакомый голос Юрия Левитана, сообщившего о предстоящем важном заявлении правительства СССР. Мы, дети, сначала не придали этому значения, но неожиданно мама одной из игравших девочек срочно позвала ее домой; игра расстроилась, и мы, вспомнив о том, что уже пора обедать, а мама почему-то нас не зовет, тоже пошли домой.

Войдя в комнату, я почувствовала какую-то напряженность: бабушка лежала на кровати и что-то шептала – наверное, молитву, мама плакала, а отец сидел у стола и о чем-то напряженно думал, время от времени успокаивая маму. Вскоре по радио повторили выступление В. М. Молотова, из которого мы узнали, что началась война. Вечером все немного успокоились, кроме

...Вцепились в нашу память:
дни блокады,
Глаза людей, к реке бредущих
за «живительной водой»,
И сквозь года мы слышим
грохот канонады,
Зловещий вой моторов «мессеров»,
ляющих над Невой...*

моей мамы. Она то прекращала, то снова принималась плакать – наверное, она предчувствовала, какое бремя забот ляжет на ее плечи, когда отца призовут в армию. Но вряд ли моя мама могла даже предположить, что ей предстоит пережить, через какие страдания и муки ей придется пройти: смерть бабушки в самый разгар бомбежек, оборонные работы под Лугой в условиях непрекращающихся бомбежек и артобстрелов, где единственным убежищем служили те же, вырытые самими женщинами окопы, извещение о смерти отца, блокада и отчаянная борьба за выживание семьи; скитания во время эвакуации (1943–1944 годы), трудное возвращение в родной город. Да, все это было потом, а вечером моя семья долго не ложилась спать. И когда я утром проснулась, то увидела своих родителей, сидевших у стола в той же позе, в которой они сидели вечером – по-видимому, у них было много что сказать друг другу в ту для них последнюю, самую короткую белую ночь. В конце июня отец уехал на фронт (на Балтийский флот), откуда ему не суждено было вернуться.

ПЕРВАЯ ЭВАКУАЦИЯ

В конце июня 1941 года, сразу же после объявления войны, нас, малолетних детей, отправили на все

* Стихотворение автора «День Победы». – Прим. ред.

лето в город Боровичи Новгородской области, а в июле фашисты уже начали бомбить Новгород.

В лагере мы жили хорошо, наши воспитатели были к нам добры и внимательны, и мы не ощущали никакого страха: по-прежнему ходили в лес, играли в игры, занимались поделками; моя младшая сестра, с которой я приехала в лагерь, посещала кружок рисования.

Как-то раз в один из солнечных теплых июльских дней мы с воспитательницей, уже немолодой женщиной, были на прогулке, на опушке леса. Я рвала цветы – ромашки и колокольчики, и не заметила пчелу, которая замаскировалась в глубине цветка. Потревоженная пчела ужалила меня в щеку, было очень больно, и я начала плакать. В тот момент я вспомнила свою бабушку, маму, отца, и мне очень захотелось домой, хотя мы, дети, знали, что город подвергался налетам бомбардировщиков – «мессеров».

Воспитательница пыталась меня утешить, но я настоятельно просила отправить меня домой. Видя мое состояние, она взяла меня за руку и повела к лесу. Там, в тени у канавы, она взяла кусок прохладной земли и приложила к моей раздутой щеке. Удивительно, но через какое-то время боль стала отступать и опухоль спала очень быстро. Когда мы пришли в лагерь, все мои детские горести были позади. Теперь, вспоминая тот эпизод моего военного детства, я невольно прихожу к выводу, что в то лихолетье, казалось, даже сама наша земля в буквальном и переносном смысле помогала «своим» детям переживать трудное время.

Вскоре пришел приказ – срочно эвакуировать детей обратно в Ленинград. Мы еще не знали, что нас ждет впереди, какие нечеловеческие испытания нам предстоит пережить, но мы были счастливы – мы возвращались домой.

Я и моя сестра попали по распределению во второй эшелон, который должен был отправиться через два часа после первого. На подступах к Ленинграду мы вдруг остановились и долго стояли, измученные жарой и жаждой, но это были мелочи по сравнению с тем, что пришлось испытать детям первого эшелона. Фашистские бомбардировщики устроили налет

на мирный, беззащитный эшелон и сбросили огромное количество бомб на детей. Наши самолеты смогли отбить атаку с большими потерями. Почти все дети первого эшелона погибли.

Вспоминая теперь свою первую эвакуацию, я прихожу к выводу, что паника, которая тогда царила в умах ленинградского руководства, была причиной неправильного, ошибочного решения – послать два эшелона детей на «отдых» в том направлении, откуда враг наступал на Ленинград.

Дома нас ждали взволнованные женщины (опоздание нашего эшелона на шесть часов приводило их в отчаяние) – мама, больная бабушка и старшая сестра; отца к тому времени уже отправили на фронт на остров Эзель (Эстония), где стояли наши военные корабли, которые в октябре того года были полностью уничтожены фашистской авиацией. Там погиб и мой отец.

Я помню его прощальный взмах руки, когда трамвай, в котором нас везли к пункту эвакуации, поворачивая за угол, медленно увозил нас от отца, чтобы мы уже никогда не могли встретиться.

БАБУШКИН СУНДУК

Осень 1941 года была для ленинградцев особенно тяжелым периодом – непрерывные бомбежки и начало блокады, которая растянулась на 900 дней.

Враг нещадно бомбил город. Люди не успевали добраться до дома – приходилось бежать в ближайшие бомбоубежища. Наша семья и соседи уже больше не прятались в окопах, вырытых в нескольких метрах от дома, – там было сыро и холодно.

В центре города то здесь, то там вспыхивали пожары, которые продолжались несколько часов, а то и несколько дней – в городе не хватало ни технических, ни людских ресурсов.

В середине октября скончалась моя бабушка, которая не раз спасала меня в своих длинных юбках от наказания за какую-либо провинность. Я была очень шустрым и любопытным ребенком, и мне частенько доставалось от мамы.

Наши близкие родственники жили в центре города. Кто-то дол-

жен был сообщить им о похоронах бабушки. Эту миссию взял на себя мой двоюродный брат Анатолий, которому тогда едва исполнилось 16 лет. Я увязалась за ним, и мама после долгих раздумий разрешила мне с ним поехать в центр, который был постоянной мишенью для фашистских бомбардировщиков. Мы долго ехали: трамвай часто останавливался, чтобы переждать период воздушной тревоги. Наконец мы добрались до Витебского вокзала, рядом с которым жила мамина старшая сестра. Однако до нее мы не успели дойти, сирена воздушной тревоги заставила нас остановиться. Где-то рядом взорвалась бомба, и я увидела, как многоэтажный дом, стоявший на противоположной стороне от вокзала, стал быстро оседать, а верхние этажи поползли вниз, обнажая все содержимое «коммуналок»: столы, стулья, кухонную утварь под отчаянные крики жителей дома.

Брат затащил меня в парадную какого-то трехэтажного дома, поставил в угол и закрыл мою голову руками. Так мы простояли до отбоя воздушной тревоги.

Я вспоминаю случай, когда фашисты то ли в шутку, то ли всерьез начали бомбить наш любимый зоо-сад – мы долго ощущали запах горелой шерсти погибших животных.

Однако самым ужасным для нас, ленинградцев, оказался день, когда фашисты целенаправленно бомбили Бадаевские склады – главные продовольственные склады всего города. Фашисты были хорошо осведомлены об этом, и они сбросили на этот объект десятки бомб. Я вспоминаю красное зарево, которое стояло в течение нескольких дней над горящими складами. Особенно остро ощущался запах сгоревшего сахара, который имел «горький» привкус в прямом и переносном смысле, ибо сгоревшие склады означали смерть тысяч ленинградцев, тела которых покоятся на многих кладбищах города.

Бабушку похоронили 14 октября («Покров день» – по церковному календарю), и мы не трогали ее единственную «личную собственность» – сундук, в котором бабушка хранила свои вещи.

Сундук стоял у печки и был всегда на замке. Спустя сорок дней после смерти бабушки мы открыли сундук и не поверили своим глазам –

под вещами лежал запас продуктов, которых хватило нашей семье на целый месяц, чтобы не умереть от голода.

Перед началом войны бабушка собиралась уехать в деревню, где прожила почти всю свою жизнь; ей хотелось, как она всегда говорила, «умереть на своей земле». Она, наверное, предчувствовала эту страшную трагедию, которую пришлось пережить далеко не всем людям, лишенным самого элементарного и самого необходимого для жизни – питания.

В сундуке мы нашли мешок сухарей, несколько кульков крупы и несколько кусков сахара.

Моя любимая бабушка Пелагея, отсыпая украдкой крупу, пряча куски хлеба и сахара, вряд ли могла знать, что тем самым помогла нам выжить в те страшные блокадные месяцы.

СОСЕДКА ЗИНА

В коммунальной квартире на одной лестничной площадке с нами жила одинокая молодая женщина, украинка, которая приходила к нам каждый день. Она приходила утром и уходила поздним вечером, питаюсь, как и мы, тем, что было – кружка горячего кипятка и 125 граммов хлеба. Соседка Зина – так называла ее мама, редко выходила на улицу (хлеб ей приносила моя старшая сестра, причем хлеб для Зины взвешивался отдельно от нашего общего пайка). Зина была инвалидом: у нее была ампутирована нога, и она с трудом волочила деревянный протез, сильно наклоняясь набок при ходьбе и вызывая жалость и сочувствие окружающих.

Я запомнила ее по красивым карим глазам и песням, которые она пела вполголоса в дни, когда особенно тосковала по своей родине. Она, бывало, сидела у большого окна нашей небольшой комнаты и плела свои бесконечные кружева из катушечных ниток, рассказывая нам о жизни на Украине. Больше всего мне нравились ее песни. Иногда я ей подпевала, не всегда понимая значение некоторых украинских слов. Я часто удивлялась, почему Зина называла красивую девушку, о которой она пела с какой-то особенной интонацией, странными для меня словами: «гарна дывчына», произнося звук «г», похожий на

тот звук, который произносила моя бабушка. Зина объяснила мне, что украинский и русский языки – это похожие славянские языки, которые имеют свои особенности. Так я получила от нее свои первые уроки по языкознанию.

Однажды Зина пришла к нам позже обычного, взволнованная и чем-то очень расстроенная. Она долго о чем-то шепталась с мамой, поглядывая в мою сторону. Мама долго не хотела рассказывать об этом «тайном» разговоре с Зиной, но, уступив просьбам, поведала нам страшную тайну, так взволновавшую ее.

Зина иногда «протапливала» свою комнату дровами, которые лежали за печкой. Вскоре дрова закончились, и ей пришлось идти в сарай. Сарай для жильцов находился рядом с домом, в пятидесяти шагах от него (так мне тогда казалось). Возле сараев стояли бочки, наполненные песком для тушения «зажигалок». Когда Зина, набрав поленьев, вышла из сарая, она протезом зацепилась за порог и уронила дрова на снег. Поднимая последнее полено, лежавшее у бочки с песком, Зина невольно обратила внимание на «предмет», который поверг ее в ужас – то были сложенные кисти рук новорожденного ребенка.

В то время было трудно объяснить этот факт, но позднее, когда я была студенткой университета и изучала иностранные языки, я столкнулась с незнакомым мне словом. Я нашла перевод этого слова в словаре и сразу вспомнила эпизод, о котором тайно поведала соседка Зина. В человеческом обществе это явление называется «канныбализм».

После того случая Зина перестала петь свои песни и, склонив голову, с утра до вечера плела свои нескончаемые кружева.

В марте того же года началось расселение жильцов нашего барака (дом подлежал сносу – на дрова), Зина попала в первый список тех, кто уже в конце марта переехал в деревянный дом, только на другой улице. Зина к нам больше не приходила, а в конце августа нашу семью эвакуировали в Сибирь. Для меня то была вторая эвакуация. После возвращения из эвакуации в 1944 году мы стали искать Зину, но, к нашему огорчению, новые соседи Зины сообщили, что она умерла в конце 1942

года. Наверное, она умерла не только от голода, но и от одиночества и тоски по своей родине.

УЧАСТКОВЫЙ ДОКТОР

В феврале 1942 года моя мама после очередного похода в совхоз «Коломаги» в поисках открытых ям, в которых находились остатки сгнившего картофеля, припасенного когда-то до войны для откорма свиней, простудилась и слегла с очень высокой температурой.

В то время у нас, простых людей, телефонов не было и в помине, и старшей сестре пришлось идти в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом. Мы не очень надеялись на то, что врач придет – на улице еще стояла холодная, морозная погода, еще сугробами лежал снег, и трудно было передвигаться по нехоженным и необустроенным дорогам. Город еще переживал блокаду: голод, холод и артобстрелы.

Однако, вопреки нашим опасениям, врач пришел на следующий день. Мы ожидали, что придет женщина-врач, но, к нашему великому удивлению, пришел мужчина – худой, невысокого роста, с врачом «сундучком», на котором был красный крест.

В то время мужчин было очень мало в городе, тем более врачей: одни были на фронте, другие работали в больницах и госпиталях; но почему наш участковый врач остался работать в поликлинике, мы так и не узнали. Врач долго прикладывал «трубочку» к маминой спине, а потом заключил: «воспаление легких» – в то время эти слова звучали как смертный приговор. Он поставил маме «банки», объяснил сестре, как надо ставить горчичники, и прописал какое-то лекарство.

Мы ничего не могли предложить врачу, кроме кружки горячей воды, которую он с удовольствием выпил.

Я очень переживала болезнь мамы и не отходила от ее кровати, напряженно думая, как ей помочь оправиться от болезни.

На первом этаже в нашей парадной жила семья Даниловых: муж, уже пожилой человек, его жена, тоже немолодая женщина, и сын, который ушел на фронт в начале войны и от него не было никаких известий. Тетя Аня Данилова работала

до войны продавцом в булочной, и соседи поговаривали, что эта семья «не голодала», у них был «мешок сухарей». Я решила пойти к тете Ане, хотя долго не решалась на этот шаг: о них говорили, что «эти люди очень жадные».

Я рассказала о нашей беде тете Ане и разрыдалась. Тетя Аня достала наволочку, лишь наполовину наполненную белыми сухарями, и протянула мне несколько штук для «лечения» мамы.

У мамы стала спадать температура, стал реже кашель, и она уже могла есть. На третий день к нам снова пришел наш участковый врач. Прослушав маму, он сказал, что «болезнь отступает, кризис миновал».

Радости нашей не было конца. Когда врач, окончив осмотр, выписал очередное лекарство, старшая сестра приготовила ему «угощенье»: кружку горячего кипятка и белый сухарь, который предназначался ей самой за «хлопоты» по уходу за мамой.

Спустя много лет после войны я случайно оказалась на Удельнинском проспекте, где стояла поликлиника, и неожиданно встретила того самого врача, который приходил к маме дважды, (сам едва держался на ногах от голода и холода), чтобы спасти детям мать. Он шел бодрым шагом, неся свой врачебный чемоданчик с красным крестом – вероятно, где-то требовалась его помощь.

БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ

Моя семья, как и многие соседи из нашего двухэтажного деревянного барака, жила в коммунальной квартире. Наша «коммуналка» состояла из трех комнат: одну комнату занимала моя семья: мама, папа, бабушка, старшая и младшая сестры и я. Две другие комнаты принадлежали соседям. То была семья, состоявшая из трех человек: хозяин – уже немолодой человек, его жена и сын, которому было 16 лет. Они каждый год покупали весной поросенка и целое лето откармливали его, а осенью закалывали на мясо. Я и моя младшая сестра стояли часами у сарая, где держали маленькое розовое существо, и наблюдали за ним с восхищением, а осенью, когда поросенка закалывали, мы плакали, упрекая Ксению Ефимовну (так звали соседку) за то, что она убивала маленьких животных. Моя мама



была тоже недовольна тем, что в небольшой общей кухне постоянно стоял дым и чад от жареного мяса.

Весной 1941 года соседи почему-то не приобрели поросенка, а вскоре началась война. Сын соседей Анатолий рвался на фронт, но ему военкомат отказывал. А когда ему все же разрешили пойти добровольцем на фронт, Ксения Ефимовна уговорила сына остаться дома – сильно болел отец (дядя Павел).

Когда началась блокада, дядя Павел совсем занемог и вынужден был оставить работу (работал он в трамвайном парке им. М. И. Калинина). Однажды в ноябре к ним пришли два милиционера, долго их о чем-то расспрашивали, а потом увезли обоих мужчин, как говорила моя мама, в тюрьму (в «Кресты»). В доме осталась одна насмерть перепуганная Ксения Ефимовна, которая надеялась, что ее мужа и сына скоро отпустят, как только все выяснится.

Дело в том, что рядом с нашим домом, где было печное отопление, стояли длинные деревянные сараи, поделенные на секции; каждая секция принадлежала какой-то отдельной семье. Сарай (секция) моих соседей был крайним, и они делили общую стенку этого сарая с другими соседями. В стенке была дыра, но этому никто не придавал значения, поскольку каждая семья заготавливала на зиму достаточное количество колотых дров. В декабре соседи дяди Павла обнаружили кражу в своей секции – было украдено какое-то количество квашеной капусты из бочки, которую его соседи держали на морозе. Поскольку была дыра в стенке между секциями, то

подозрение пало на дядю Павла и Анатолия. Прошел месяц, но их не отпускали, хотя обыск не дал никаких улик и не было свидетелей. Ксения Ефимовна долго хлопотала, ходила в «Кресты», хотя ей, голодной и расстроенной, было довольно трудно ходить пешком от Удельной до Финляндского вокзала. И только весной 1942 года родственникам Ксении Ефимовны удалось узнать, что дядя Павел и его сын Анатолий умерли в тюрьме в январе 1942 года от голода, не дождавшись ни суда, ни следствия. Ксения Ефимовна очень горевала, кричала по ночам, звала сына. Весной родственники взяли ее к себе, совершенно обезумевшую от горя, голода и несправедливости. Больше мы ее никогда не видели.

ТОВАРИЩ МАЙОР

В январе 1942 года, в самый разгар суровой зимы, к нам пришел человек, еще совсем молодой, в военной форме и, как мы позже узнали, в чине майора.

Кто рекомендовал ему обратиться именно к нам – до сих пор остается неразгаданной тайной. «Товарищ майор», (так называла его наша семья) попросил маму разрешить ему переночевать у нас три ночи подряд, объяснив, что через трое суток часть, в которой он служил, отправляется на фронт. О причине, по которой он обратился к нам с этой просьбой, мы узнали уже на следующий вечер, когда наш жилец пришел к нам не один, а с молодой женщиной. В то время кровать бабушки была пуста – бабушка умерла в середине октября 1941 года от сердечной недостаточности. За «неудобство», которое он мог причинить нашей семье, майор обещал поделиться с нами своим пайком – солдатский котелок каши, которую мама разбавляла водой, чтобы все могли немного утолить голод. В тот вечер майор и его знакомая долго не ложились спать – шепотом разговаривали, и я иногда слышала сдержанные рыдания молодой женщины.

По всей видимости, это была их последняя встреча.

Когда утром я проснулась, майора и его знакомой уже не было. На столе я увидела тот самый солдатский котелок, наполненный кашей, – последний прощальный привет от

нашего «товарища майора». Мама стояла у иконы, изображающей Иисуса Христа (память о нашей верующей бабушке), и долго молилась и, как потом она мне объяснила, – прислала Бога, чтобы он сохранил жизнь нашего неизвестно откуда взявшегося жильца.

ДЯДЯ КОЛЯ ВАЛЬКОВ

В начале февраля 1942 года моя старшая сестра Лидия (ей было 15 лет), в обязанности которой входила доставка нашего семейного хлебного пайка, вернулась из магазина (особняк на проспекте Энгельса, ранее принадлежавший купцу Башкирову), в котором сейчас располагается коммерческий банк, и сообщила, что слышала разговор двух женщин о том, что в совхозе, который находился где-то в Коломягах, отрыли ямы с картофелем, припасенным в мирное время для откорма свиней на зиму. Конечно, никаких свиней уже не было и в помине, а ямы с картофелем были давно всеми забыты. Присоединившись к кому-то из соседей, мама, взяв санки и мешки, отправилась в совхоз. Шли они долго по нехоженным, заснеженным тропам, а когда пришли к ямам, то, к своему огромному огорчению, вместо картофеля обнаружили обыкновенную землю с отдельными включениями картофельного крахмала. Помню, как мы старательно отделяли землю от крахмала, из которого мама готовила заварную похлебку землисто-серого цвета, оставлявшую на зубах неприятное ощущение частиц земли.

Во второй раз маме повезло больше – она привезла две большие глыбы земли с довольно крупными включениями крахмала. В тот счастливый день мама испекла в печке на маленькой сковородке пять лепешек, добавив крахмал в размоченные корки хлеба. Корки размачивались потому, что у нас болели и кровоточили десны от недостатка витамина С: цинга.

В то время как мы приступали к трапезе, в дверь нашей комнаты постучали, и вошел дядя Коля Вальков из соседней парадной. Он сильно исхудал и с трудом выговаривал слова.

Мама усадила его перед жарко нагретой печкой. Он смотрел на угасающие угли, протягивая худые, замерзшие руки.

Дядя Коля был интеллигентным человеком и весьма образованным. Он всегда был аккуратно одет и вежливо со всеми здоровался. У него была семья – жена и сын Олег – инвалид с рождения, он довольно быстро передвигался с помощью костыля, который не только помогал ему ходить, но и ловко забивать футбольный мяч в импровизированные ворота.

Ребята нашего двора уважали его за интересные рассказы, которые он читал вечерами.

Дядя Коля сообщил маме о смерти жены и сына; мама не могла сдерживать слезы, а он продолжал спокойно рассказывать о том, что жалеет, что его не взяли на фронт и что не может закончить какую-то «очень важную книгу» – кончились бумага и чернила.

Мама угостила дядю Колю горячим кипятком, отдав ему пятую лепешку, нашу надежду на добавку.

Покончив с ужином, он поблагодарил маму и ушел, как мы потом узнали, навсегда. Когда на следующий день соседи по квартире открыли дверь его комнаты, они увидели следующую картину: дядя Коля сидел на стуле у письменного стола, положив голову на руки, скрещенные на столе, на котором была грудка испанской бумаги. Наверное, это была его недописанная, «очень важная книга», о которой уже никто и никогда не узнает.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ МЯКИШ РЖАНОГО ХЛЕБА

Незадолго до начала войны мой отец решил сменить место работы и устроился охранником на заводе «Красная Заря» (Сампсониевский проспект). Причиной, побудившей отца поменять место работы, были низкая зарплата на прежнем месте и, соответственно, скудный семейный бюджет. Оформление на новую работу потребовало большого количества времени, да и до первой полочки было еще далеко. В резуль-

тате на семейном столе в течение месяца не было белого хлеба. Моя старшая сестра регулярно приносила из булочной мягкий ржаной хлеб с хрустящей корочкой. Мама строго следила за тем, чтобы дети обязательно съедали за обедом хотя бы один кусок мякиша, и я всячески старалась спрятать его то в карман платья, то незаметно подкидывала его младшей сестре. Однако мама вскоре заметила это и пригрозила мне тем, что не разрешит гулять на улице, если я не съем хлеб, и мне пришлось пойти на другие хитрости. Когда мама во время обеда уходила на кухню, я быстро отделяла мякиш от корки, ловко, быстрыми движениями пальцев сминала его и, просунув руку под стол (большой круглый стол стоял посреди комнаты), приклеивала его к крышке стола. Когда мама возвращалась из кухни, я демонстративно медленно доедала корку. Так было до тех пор, пока отец не получил зарплату и на столе опять появился белый хлеб.

Шло время, я совсем забыла о своих «проказах», да и под стол уже никто не залезал, как это было раньше, когда я и моя младшая сестра пряталась под ним от наказаний за какие-либо провинности или просто играли под столом – в единственном свободном месте в комнате.

В январе 1942 года, когда на семейном столе невозможно было найти даже крошки хлеба, я вспомнила о приклеенных мякишах ржаного хлеба. К моей большой радости, я набрала почти полную детскую миску маленьких сухариков, из которых мама два дня варила жидкую «болтушку». Так мои детские проказы помогли моей семье прожить два дня до получения нашего мизерного пайка (125 граммов хлеба), выдача которого была задержана на три дня по причине отсутствия необходимых компонентов, из которых выпекался блокадный хлеб: муки, опилок, игл хвойных деревьев, дуранды (жмыха), причем процент муки была наименьшим из всех составляющих.

*(продолжение
в следующем номере)*

